

17 августа 1934 года на проспекте 25 Октября подобрали лежавшего в глухом обмороке старика. Его доставили в ближайшую больницу — «Памяти жертв революции».

— Вот так жертвочка, — присвистнул, морщась, молодой парень с перебинтованной головой, когда старика укладывали на соседнюю койку. — Ещё вшей от его наберёшься.

Лекпом, пожилой богатырь в тесном белом халате, наблюдавший за работой санитаров, ответил:

— Он из обмывочной. Чистый. Но видок, конечно... — Не досказал, покачал головой с презрительным сочувствием.

Старик тощий, измождённый, но кость широкая — при хорошем питании и здоровом образе жизни наверняка был бы крепышом. А так... Лекпом всё чаще слышал новое, необычное, но очень точное слово — доходяга. Этот старик как раз являлся форменным доходягой. И седые длинные волосы, растущие на висках и затылке, две глубокие залысины, то ли курчавая, то ли давно нечёсаная борода усиливали тягостное впечатление... Старик напоминал льва, но льва, потерявшего клыки и когти, изгнанного из стаи, издыхающего...

Подобных личностей в Ленинграде становилось меньше и меньше. Город светлел, молодец, звенел радостью жизни. Но нет-нет, да и выползали из нор и чердаков тени прошлого и падали на панелях.

— А костыли куда его? — спросил леккома санитар Горшков; старика подобрали с костылями.

— Приставь к стене пока. Как отойдёт, инвентаризируем. А может, родня отыщется.

Лекпом хотел добавить, что подобранный не из простых — одет был в изношенный, но дорогой когда-то сюртук из настоящего шалона, во внутреннем кармане находились вырванные из книг листочки с надписями поэтов Блока, Есенина, Сологуба, а также удостоверение, что старик этот отбыл срок заключения по статье 58-10, освобождён и «имеет право проживать на всей территории Союза ССР». Это было странно — в город Ленина подобный общественно-вредный элемент с недавних пор не особо пускали. Но, может, он каким подвигом искупил...

И вовсе он не старик — этому заросшему седыми волосами, с серой истончившейся кожей человеку сорок семь лет. Иван Максимович Поддубный в

пятьдесят пять всех борцов Северо-Американских Соединённых Штатов победил, а он, лекпом, в свои пятьдесят два каждое утро на турнике вертится...

Да, не стоило рассказывать о новом больном всем подряд. Мало ли... И лекпом, почему-то рассердившись, вместо того, чтоб уйти вслед за санитарями, строго спросил парня с перевязанной головой:

— Как, Дегтярников, мозг встаёт на место?

— Потихоньку.

— М, сотряс по пьянке в момент, а теперь пятый день матрас уминаешь. А работа стоит.

— Да трезвый я был. Поскользнулся.

— Трезвый, — проворчал лекпом. — Несло, как из винного погреба.

— Не бывал в таких погребах, не знаю.

Они бы наверняка ещё долго вот так вяло перебрехивались, но тут в палату влетел невысокий кривоплечий гражданин со звероватым лицом. Клетчатый пиджак расстёгнут, в кулаке зажата кепчонка.

— Александр Иванович здесь?

— Таких не знаем, — прогудел старший по палате, страдающий избыточным давлением металлист Губин.

— погоди, Степан Яковлевич, — насторожился лекпом. — А вы оттуда, товарищ?

— Откуда?

— Н-ну, из гэ... — Он осёкся и поправился:

— Из энкэвэдэ?

— Я? — Вошедший вздрогнул. — Я — нет. Я из другого... другой организации... Так вот же! — Клетчатый увидел седого человека и бросился к нему. — Александр Иванович!..

— Не будоражьте, не надо. Отходит, кажись, ваш Александр Иванович. Вкололи ему камфары, вроде очнулся, помог раздеть себя, помыть, а потом опять... Доктор сказал — полное истощение жизненных сил.

Клетчатый присел на край кровати, с тоской смотрел на лежащего... Лекпом переводил взгляд с одного на другого. Определил — не родня. Спросил:

— Так вы кто будете, гражданин? Посторонним не положено.

— Я литератор, — с усилием ответил клетчатый и вынул из нагрудного кармана пиджака трубку.

— Курить тут нельзя... Стихи сочиняете?

— Да. И стихи тоже.

— Любопытно... А почитайте, — попросил один из больных, на вид интеллигентный, в очках. — Искусство, я слышал, помогает излечению.

— И то, — поддержали другие. — От безделья киснем натуральным образом. И репродуктор сломался...

Лекпом, желая проверить правдивость посетителя, добавил:

— К литераторам у нас уважение — они почти как врачи. А если с улицы, то покиньте.

Клетчатый как-то затравленно поозирался, явно — все заметили — покопался в памяти, выбрал нечто подходящее и начал нервной скороговоркой:

Хлеб сдай,  
лён сдай,  
хлопок сдай  
в срок!  
Знай, знай, знай, —  
это будет впрок.  
Нам заводы помогают,  
нам заводы высылают  
ситец, косы и косилки,  
трактора и молотилки,  
обувь крепкую из кожи.  
Ты заводу вышли тоже,  
только быстро,  
только дружно,  
ровно к сроку  
всё, что нужно.

Стих кончился, но слушатели ещё некоторое время ждали продолжения. Не дождавшись, заговорили:

— Бойкое.

— Как ребёнок придумал. Эту, речёвку пионерскую.

Лекпом кивнул на седого:

— И он тоже стихи сочиняет?

— Тоже.

— Хм, — покривил рот перевязанный Дегтярников, — такие же?

— Разные. Есть очень... очень сильные. — И клетчатый поёжился.

— А можно послушать? — произнёс интеллигентный. — Вдруг окажется, что с гением рядом лежим.

— Вам не понравится.

— Отчего ж? Нельзя заранее судить. Вы озвучьте, а мы решим.

— Только не производственное, — добавил кто-то с дальней койки. — Душевное что-нибудь.

— Душевное... Извольте. — Клетчатый покосился на сухое, опутанное космами лицо Александра Ивановича. — «Моление о пище» называется.

— Здорово! — взбил подушку Дегтярников. — Я люблю про харч.

Пищи сладкой, пищи вкусной  
Даруй мне, судьба моя, —  
И любой поступок гнусный  
Совершу за пищу я.

Я свернусь бараньим рогом  
И на брюхе поползу,  
Насмеюсь, как хам, над богом,  
Оскверню свою слезу.

В сердце чистое нагажу,  
Крылья мыслям остригу,  
Совершу грабеж и кражу,  
Пятки вылижу врагу.

За кусок конины с хлебом  
Иль за фунт гнилой трески  
Я, — порвав все связи с небом, —  
В ад полезу, в батраки...

— Пакость какая! Блевотина! — прервал лекпом. — У нас тут больница, а не сортир, гражданин литератор.

— Вы же сами просили...

— Ну, не могли мы представить, что такую мерзость на русском языке сочинить возможно.

— Да, отвратительное стихотворение, — поддержал интеллигентный, но как-то раздумчиво.

И клетчатый, видимо, уловив эту раздумчивость, ободрился:

— Но ведь сильно? Сильное? А стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьётся!

— Хорошо, — раздалось с кровати натужное, нутряное, будто из зарытой могилы. — Хорошо сказал, Данюшка.

— Оп-па, воскрес! — изумился Дегтярников. — С возвращеньцем.

— Даня, где я?

— В больнице, Александр Иванович. В Жертв революции.

— Это которая Мариинская?..

— Да-да, она.

— Мариинская... Кто здесь из знаменитых умер, не знаешь?.. А, не важно...

— У нас редко теперь помирают, — сказал лекпом. — Лечим.

— Давно я здесь?

— Часа три как привезли. На улице вас подобрали...

— А бумаги?.. Автографы где?

— Всё в гардеробной. Сюда нельзя — нечистые у вас, гражданин, вещички.

— Вещички?! — хотел было возмутиться седой, но сил не хватило; зашептал:

— Данюшка, забери... отнеси автографы в Пушкинский Дом. Они и деньги мне заплатили, а я не несу... Отнеси.

— Да, Александр Иванович.

— И к жене потом... Марии Николаевне... скажи, что вот так... я здесь...

— Да, конечно.

— Пусть не приходит. У неё же ноги... туберкулёз костей... Успокой её... Адрес помнишь? Здесь, за углом — Жуковского, дом три, седьмая квартира.

— Помню, Александр Иванович, — кивал клетчатый Даня; лицо его совсем утеряло звероватость, было жалким и детским. — А я вас ждал, ждал на нашем месте, потом торговка одна говорит: да забрала вашего медицинская помощь, думали пьяный, а его удар, кажись, хватанул. И я — сюда. Как чувствовал...

— Спасибо, Данюшка, — седой обнял его руку своими сухими, костлявыми пальцами. — Только ты побеги, ради Христа, отдай автографы, не хочу для них подлецом оставаться...

— Пойдемте, — сказал лекпом, — я выдам. А костыли пускай остаются — может, и пригодятся ещё... И прикреплю вас к кухне, — подмигнул лежащему. — Наверно, и ужин ещё захватите...

Лекпом и Даня, несколько раз успевший оглянуться по пути от кровати до двери на седого, вышли.

Больные, заинтересованные новым соседом, а больше томившиеся отсутствием дел, молчащей радиотарелкой, некоторое время не решались заговорить с ним. Александр Иванович лежал на спине, хорошо виден был его крупный, но какой-то сморщенный, как полежавшая в тепле картошка, нос, высокий лоб; глаза были прикрыты...

Но стоило ему шевельнуться, и интеллигентный сразу спросил:

— А вы действительно такие стихи сочиняете?

Седой ответил не сразу; сопалатникам показалось, что он не услышал, спит и пошевелился во сне. Но вот заговорил:

— Разные я писал. И у Бодлера учился, и у Брюсова, Валерия Яковлевича, у Бунина, Ивана Алексеевича... Такое вот у меня есть, из первой книги:

О, сколько кротости и прелести  
В вечерних красках и тенях,  
И в затаённом робком шелесте,  
И в затуманенных очах.

Мы словно в повести Тургенева:  
Стыдливо льнём плечо к плечу,  
И свежей веточкой сиреневой  
Твоё лицо я щекочу.

Седой помолчал и спросил слегка заискивающе:

— Как?

— Мило, — ответил интеллигентный.

— Вот именно — мило. В одно ухо влетело, из другого упорхнуло. А то, какое вам Даня читал, оно у вас всех в голове застрянет, как гвоздь сапожный.

— Не дай бог, — бормотнул старший по палате и сделал движение правой рукой, будто крестится.

— И много у вас книг напечатано?

— Три книги поэзии и три статей. Ещё семь книг подготовлены...

— Книги, видать, при старом режиме брали, — хмыкнул Дегтярников, — а теперь перестали.

— Ошибаетесь... При старом режиме один сборник стихов был издан, остальное — после Октября. Я для революции сделал поболее... поболее многих.

— А как фамилие ваше?

— Фамилия... Тиняков, Александр Иванович.

На фамилию больные никак не отреагировали — не покивали, не ахнули удивлённо-восторженно, — и седой добавил:

— Но я много под псевдонимами выступал: Одинокый, Герасим Чудаков, Чернохлёбов, Немакаров...

Больные и на этот раз остались равнодушны. Александр Иванович прикрыл глаза, но тут же его толкнул новый вопрос:

— А вы из бывших?

— В каком это смысле?

— Дворянского происхождения?

— Нет, совсем другого... Из крестьян. Потомственно... Но Тиняковы никогда крепостными не были! Государственные крестьяне Орловской губернии... Поколение за поколением трудились, богатели своим стараньем... до кровавого пота трудились... Дедушка, Максим Иванович, имение купил, триста десятин земли. — С каждой фразой голос этого почти трупа становился живей. — Он замечательный был человек, дедушка. Камень, а не человек... Его силами и деньгами новый Покровский храм в Становом Колодезе построили. Возле Орла. Такому храму и сама Москва позавидует... Много Максим Иванович на благие дела жертвовал, но строг был!.. Всех в кулаке держал. Уже и сыновья взрослые, и дочери замужние, а всё равно... Чужие люди его благодарят, а родные — слёзы льют. И то — тайком. Боялись показать, что недовольны чем... Помню, как он настоял, чтоб старшая внучка его, Анна, кузина моя, вышла за хорошего человека, но нелюбимого. Деду он нравился, а Ане... И такого горя, какое у неё и родных её перед свадьбой было, я и на похоронах не видел. И я плакал — она первой моей любовью была, хотя мне шёл тогда седьмой год всего... Аня мне свою карточку подарила, до сих пор храню, во всех скитаниях со мной она...

Александр Иванович передохнул, отдышался и продолжил:

— Моему отцу дедушка после свадьбы имение купил в селе Богородицком Мценского уезда. Шестьсот десятин земли! Барин бы какой от такого изобилия вздулся, ожирел и лопнул, а наши все — трудились. За плугом сами ходили. Нанимали, ясно, работников, но и Тиняковы рук не жалели... Детство моё прекрасное было — природа вокруг, простор, красота. Дали

русские... О городе ведать не ведал — незамутнённый я был совершенно до десяти лет, до самой гимназии... Дедушка часто к нам наезжал, смотрел, как справляемся. Книг никаких не терпел, кроме святого писания, церковных... Пушкина и Тургенева от него прятали... Однажды Державина увидал, полистал — и в печь. Мать моя: «Батюшка, за что?!». А он: «Поганцы!». И повторяет то, что выхватил глазами из книги: «Не лобзай меня так страстно». Но я тогда и запомнил, что Державин — запрещен. И потянуло запретное читать... И мне от Максима Ивановича доставалось. Раз сидим вдвоём на веранде. Лето, благодать. И я говорю: «Дедушка, гляди, две мухи слиплись и летают». А он как взвился: «Ты на что это внимание обращаешь, поганец?! Пшёл в чулан — без обеда остаёшься». А я совсем ещё душой младенец был. Чистенький, волосы светлые, кудри ангелочкины... После этого стал узнавать, зачем это мухи слипаются, петух на кур прыгает, козы, собаки друг на дружку лезут...

Голос Александра Ивановича, до того натужный, деревянный какой-то, сделался мягче и в то же время погрузнел.

— Перегибал дедушка, но прав он был в своей строгости. Это я потом осознал, потом... когда исправить ничего стало нельзя. А тогда наперекор поступать хотелось. Нельзя — а я буду!.. И постепенно дедушка сделался для меня врагом. В лицо боялся перечить, больше тайком... Отец тоже крут был, но не так уже — уже червоточина появилась. Моя мать её занесла, сбילה отца с пути... Она городская, из семьи состоятельной, на вид почтенной, но тронутая вырождением. Старший брат матери отравился из-за любовного вздора, она сама, Мария Лукинична, тоже была психически нездоровой. Ей бы в монастырь уйти, там мечтать и молиться, а она замуж вышла за земного, грубого человека, который только работал и ел, чтобы работать, — за отца моего, Ивана Максимовича... Она очень меня любила. Глубоко любила, мучительно, беззаветно. Великим человеком меня видела, с измальства мне это внушала... Зачем? — Александр Иванович тяжело вздохнул-простонал. — Другую отцу надо было жену — из своего круга. Как бабушка — крестьянка из одного с дедом села. Нарожала здоровых ребят, до старости хлопотала, следила за каждой тряпкой и щепкой, каждым куриным яйцом... Родился бы я от крестьянки, не стал бы таким... не стал бы литератором... литератором-неудачником, не подыхал бы от голода и унижений, а заведовал бы каким-нибудь откомхозом и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши-ребята, надёжный дом, достаток...



Седой замолчал и долго отдышал, громко дыша. Будто пробежал в гору. Потом попытался подняться, но сразу уронил тело на простынь.

— Попить бы... не смогу сам.

Дегтярников осторожно, стараясь не трясти головой, встал, прошёл к баку с водой, зачерпнул кружку. Отнёс седому.

— И что же, — спросил интеллигентный, — с вами приключилось такое, что вы так теперь сокрушаетесь?

— Много... много всего. Нет сил обо всё рассказывать, да и надо ли... Рождённый неудачником и в гроб должен сойти неудачником, не поведав о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив.

— Ну уж вы слишком, — сказал слезливо тот человек, что просил клетчатого почитать «душевное». — Аж плакать захотелось.

— Впрочем, след я оставил, — словно не услышав этих слов, заспорил Александр Иванович с самим собой. — Только не такого следа хотел... Показали мне, что обо мне пишут эти... сбежавшие с родины. Жорж Иванов, лощёный сноб, ничтожество, эпигоныш, так изгадил... Все сплетни вспомнил, все мои пьяные бредни записал... Ходасевич, хорёк глистатый... «Тиняков писал посредственные стихи». А ты?! Тебя белогвардейцы на руках носят, ты и рад. И гонорар в валюте получаешь... Ничего-о, посчитаемся... Я хоть живые души из пожаров спасал, а они что... Барышни томные в брюках... Фуф... Да и здесь имеются такие, кто на Тинякове зарабатывать вздумал... Зощенко... Только меня на Соловки отправили — сразу повестушку строчить принялся. Думал, видать, что я там навек сгину, а я — вернулся. Прочитал стряпню эту. Отвратительно, беспомощно, примитивно... Встретились, говорю: «Вы, Михаил Михайлович, вероятно, думали, что я умер. Нет ещё». Он смутился, поспешил якобы по делам... Потом пришлось мне к нему обратиться — одеться не во что стало, жена заболела туберкулёзом костей. Написал я ему письмо. Не письмо — мольбу! Денег немножко просил, брючонки никуда не годные... Не отозвался Михаил Михалыч. Что ж, большим деятелем стал, на канал с Горьким скатался, полюбовался, как там народ русский... Теперь на писательский съезд... ещё и с пламенной речью выступит...

— И как там на Соловках? — спросил старший по палате.

— Хорошо... Хорошо мне жилось в лагере. Много там людей культурных, думающих, дисциплина, кормёжка хоть не роскошная, но по распорядку. Работать на общих основаниях я по здоровью не мог, в тепле держался... А потом, к сожалению, перевели меня в ссылку в Саратов. На положении почти

свободного гражданина я там находился — голодал и бедствовал невероятно. Освободился, вернулся сюда. Жена больная, безработная — а она уроками английского языка кормилась... и меня кормила. Папиросами для меня, бывало, плату брала... Милостыню снова просить после возвращения я побоялся — могли снова выслать. Распродаю библиотеку, автографы знаменитых писателей. Мне многие подписи ставили, книг много разных было... Всё развезлось...

— Значит, у Зоценко Мишель Сипягин с вас списан, — не спросил, а вслух подумал интеллигентный больной; Александр Иванович дёрнулся, как от удара.

— Нисколько!.. То есть, черты внешнего сходства имеются, а сути — нисколько... Особенно парусиновый портфель не прощу Зоценке. Его Мишель портфель этот для виду носил, чтоб, когда милостыню просит, люди видели, что он человек не пропащий, поневоле опустившийся. Чтоб разжалобить... А я в том портфеле свои книги носил. Продавать пытался.. Почти не брали, глупцы. А третья книга — «Аз есмь сущий» — одно из самых замечательных явлений в области нашей новейшей поэзии. Я доказал в ней, что честность выше притворства не только в жизни, но и в словесности.

— Экая заслуга! — раздалось ироническое с одной кровати. — Чему тут хвалиться?

— Есть чему, — строго и глухо сказал Александр Иванович. — Вот скажите, вы кого больше всех на свете любите? Только честно... Честно.

— Ну, жену... детей.

— Родину! — как-то двусмысленно бросил Дегтярников.

— Ребят родных больше всего...

— А, не врите, — остановил перечисление Александр Иванович. — Себя самих мы больше всех любим. Себя! Худого, жирного, лысого, вшивого, с ногтями грязными, ногами вонючими. Обожаем, бережём, поклоняемся... И я это воспел!

— Ну-ка, как вы это сделали, любопытно, — сказал интеллигентный.

И Александр Иванович с готовностью стал почти нараспев, торжественно декламировать:

Я судьбу свою горькую, мрачную  
Ни на что не желаю менять:  
Начал жизнь я мою неудачную, —  
Я же буду её и кончать!

Больше бога, Героя и Гения  
Обожаю себя самого,  
И святей моего поклонения  
Нет на нашей земле ничего.

Неудачи мои и пороки  
И немытый, в расчёсах, живот,  
И бездарных стихов моих строки,  
И одежды заношенной пот —  
Я люблю бесконечно, безмерно,  
Больше всяких чудес бытия...

— Ясно, ясно, — перебил старший по палате. — Воинствующий индивидуализм. За это, гражданин, можно обратно на Соловки отправиться. И нас ещё с вами зацепят.

После этого на несколько минут установилось молчание. Обитатели палаты занялись поиском каких-нибудь дел. Кто-то зашуршал сто раз прочитанной газетой, кто-то заводил часы, копался в тумбочке. Дегтярников подошёл к репродуктору и, ворча, стал вертеть ручку громкости.

— Я должен был ещё в тридцатом году умереть, — своим глухим, деревянным голосом, от которого снова все вздрогнули, объявил Александр Иванович. — Ещё до Соловков, до Саратова.

— С чего это? — оторвавшись от репродуктора, с усмешкой спросил Дегтярников. — Кто вам указал, когда умирать?

— Ну как же, — поддержал его тон интеллигентный, — слышал же в стихе — сам начал жить, сам и будет её кончать... И что вам помешало?

— Ничего не помешало. Если вы о самоубийстве, то я никогда о нём не думал. Это отвратительно — жить нужно до последней возможности... Дело в том, что в тридцатом году сумма трёх цифр равнялась тринадцати. Один плюс девять плюс три равняется тринадцать.

— И что?

— Я пережил до того три таких года. И в каждом из них случились роковые для меня события. В девятьсот третьем — тоже в сумме тринадцать — начали печатать мои произведения, я познакомился с Валерием Яковлевичем Брюсовым, Леонидом Николаевичем Андреевым, окончательно бросил гимназию, имел первое сношение с женщиной. В этом же году умер дедушка

Максим Александрович... В девятьсот двенадцатом — опять же тринадцать в сумме — была издана первая книга, я переехал в Петербург... В двадцать первом — и здесь тринадцать — второй переезд сюда, я узнал о смерти отца, похоронил Блока, Александра Александровича, который один из немногих по-человечески ко мне относился... Тридцатый был последним на моём веку год, дающий в сумме тринадцать, и я ожидал смерти. Я всё испытал, под конец и тепло семейного очага. Но вместо смерти был арестован. Впрочем, это тоже знак тринадцати.

— Дешёвая мистика, мракобесие, — отозвался Дегтярников. — Да тут большинство все эти четыре года пережили. И что?

— Вам, может быть, и ничего. А мне это важно. Я вообще люблю размышлять. Не люблю, вернее, а имею потребность... Некоторые и календаря не знают, в часах, — Александр Иванович указал взглядом на металлическую лепёшечку в руке старшего по палате, — не понимают. А я знаю, понимаю и могу анализировать. И когда я пережил тридцатый год, я был очень раздосадован. Судьба меня обманула.

— Досадовать, что не умер, — покривился интеллигентный, — декадентство какое-то... М-да, любопытный вы человек — с Блоком были знакомы, Андреевым. Зоценко вас описал, белые вас вспоминают, побирались, если не ошибаюсь, на Соловках побывали... И как — довольны судьбой? Вы уже говорили, что неудачник и так далее, но всё же, начистоту...

Александр Иванович похрипел в глубине горла, подбирая слова для ответа, не решаясь заговорить. Может, пробежал сейчас мысленно свои сорок семь прожитых лет.

— Судьба, — наконец решился, — судьба богатая получилась. Такие были приключения, такие скандалы, женщины... Я саму Ахматову, Анну Андреевну, щупал, а она только попискивала и жаловаться не бежала. Потом, когда на панели стоял, подошла однажды. «Можно, — говорит, — я вам двадцать копеек положу?». «Можно», — говорю. Она положила и пошла этак медленно, ждала, видимо, что окликну, а я не окликнул. Не нужна уже она мне была. А муженька её ненавидел — всё гения корчил, над Брюсовым, Блоком смеялся... Да меня, — Александр Иванович неожиданно возвысил голос почти до крика, — два раза к виселице присуждали! У меня сам академик Тураев, Борис Александрович, великий наш учёный по Древнему Египту, советов спрашивал!.. Профессор Фриче, Владимир Максимович, от Главлита меня защищал... Я вам здесь и сотой доли о себе не поведал. Жаль, всё это со мной

вместе в могилу уйдёт... Но я жалею... Жалею, что по такому пути пошёл. Прав дедушка Максим Александрович был, когда запрещал меня в гимназию отдавать. «Развертится он там! — говорил. — Погибнет». Мать меня в образование тащила, а отец не в силах был сопротивляться... Сколько ссор было, слёз, крику. Два мира схлестнулись: здоровых крестьян и города, гнилью заражённого... Отец сдался, отдал меня в гимназию, и я покатился... Уверен был — возношусь в небеса культуры, а на самом-то деле — падал. Не нужно крестьянину ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрии. Ни русской литературы! У крестьянина поля есть, рощи, птиц пение, молитвы...

В златые саваны деревья облеклись,  
И скупо льётся свет на землю с поднебесья...  
Бледна и холодна и безучастна высь  
Печальною порой, порою златолесья, —

вот как я начинал. От этих строк моих у Бунина, Ивана Алексеевича, глаза влажнели!.. И чем кончил:

Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь  
Падалью, полной червей,  
Но пока жив, — я ликую над трупами  
Раньше умерших людей.

Были и позже стихи, но их при обыске забрали... сожгли, наверно... В девятьсот втором мне гимназии стало мало, и бросился я в Москву, в пучину. Решился порвать с семьёй, с крестьянскими своими корнями... А дедушку к тому времени я уже ненавидел: отсталый, деспот, самодур... Нашёл одного Тинякова — Аристарха, каторжника, девять человек топором зарубившего, и всем рассказывал, что это и есть мой дед. Стыдно теперь, стыдно... Несколько месяцев в Москве как пёстрый сон пролетели; я запутался и прибежал в Ясную Поляну, к Толстому, Льву Николаевичу.

— Вишь, и до Толстого дело дошло, — насмешливо, но негромко, не перебивая, сказал Дегтярников старшему по палате Губину.

— Толстой болел тогда, мы с ним посредством записок общались. Через дочку... Он мне написал: «Возвращайтесь домой, помириться с родителями, дедушкой. И, пожалуйста, не становитесь современным поэтом. Современ-

ные поэты — люди ненормальные. Вы крестьянин, а крестьян в свете не любят. И в литературном кругу тоже. Будете на побегушках у дворянских фуражек, смеяться над вами будут, и погубят». Так и вышло. Поклонялся я Бунину, Брюсову, псу-сифилитику Садовскому, а они на меня плевали... Вернулся я после Ясной Поляны домой, покаялся, в гимназии продолжил учёбу. Но стихи не бросил. И стал современным поэтом... Поэтом стал, а в круг небожителей принят не был. За папиросами для них бегал, Канта цитировал... Я же таким учёным был — от клинописи до гипнотизма всё знал. И всё сам, самоучкой!.. Они пили, морфий кололи, кокаин в ноздри сыпали, блудили так, что стон стоял, Никольскому на всякий случай пятки лизали, а мной прикрывались: «Тиняков — свинья, Тиняков — развратник. Тиняков — «Чёрная сотня». И получилось, что ничем я для будущего не останусь, как только грязью... Боюсь там, — Александр Иванович шевельнул сухими пальцами, — с дедушкой встретиться. Боюсь, как он поглядит на меня. Сожжёт глазами. Сожжёт-от...

— Чего у вас опять с репродуктором? — вошёл в палату монтёр.

— А? С репродуктором? Да не бухтит, — всполошился Губин. — Погляди, с тоски без радивы подышаем.

Монтёр, ворча, стал копать в чёрной тарелке. Больные следили за его движениями, на глухой, слабый голос седого уже никто внимания не обращал.

— ...Не подлец я, дедушка, а если бога хулил, то от отчаяния. Не помог мне бог, никто не помог... А я настоящим хотел...

— Опять проводок оборвали! — досадливо объявил монтёр. — Ироды. Аккуратно надо крутить, а не дергать. Привыкли...

— Да мы аккуратно вроде.

— Почините, пожалуйста, товарищ. Хоть знать, что в стране происходит...

— ...Я написал настоящее, дедушка. Никто не заметил только. Все грязи ждали... А у меня есть... Послушайте, дедушка. Послушаете, да?

Былинкой гибкою под ветром я качаюсь,  
Я Сириусом лью лучи мои в эфир,  
И я же трупом пса в канаве разлагаюсь,  
И юной девушкой, любя, вступаю в мир.

Если бы обитатели палаты отвлеклись от обсуждения сломанного репродуктора, то наверняка очень бы удивились, каким чистым стал голос седого. Чистым, свежим, трепещущим.

И все очам людским доступные картины,  
Все тени, образы и лики бытия  
Во глубине своей божественно-едины,  
И все они во мне, и все они — лишь я.

Христос израненный и к древу пригвождённый,  
И пьяный сутенёр в притоне воровском —  
Четою дружною, навеки примирённой,  
Не споря меж собой, живут во мне одном.

Во всём, что вымерло, в деревьях, гадах, птицах,  
Во всём, что есть теперь в пучине бытия,  
Во всех грядущих в мир и нерождённых лицах —  
Во всём Единый Дух, во всём Единый Я.

Больных оглушил последний аккорд бравурной мелодии из воскресшего репродуктора. И тут же восторженный девичий голос произнёс:

— Вы прослушали песню «Мы любили его» из картины «Три песни о Ленине». А теперь о новостях дня. В столице нашей советской родины городе Москве сегодня начал работу Всесоюзный съезд советских писателей. Более полутысячи мастеров слова собрались в Колонном зале Дома Союзов, чтобы создать великую литературу социализма.

— Эй, поэт, — обернулся к кровати седого Дегтярников, — а ты чего не там? Александр Иванович не слышал: он погружался в последний свой сон — сон смерти.